

Максим Горький

Мужик



Максим Горький

Мужик

«Public Domain»

1900

Горький М.

Мужик / М. Горький — «Public Domain», 1900

«В провинциальных городах все интеллигентные люди друг друга знают, давно уже выболтались друг пред другом, и, когда в среду их вступает новое лицо, оно вносит с собою вполне естественное оживление. На первых порах ему рады, с ним носятся; более или менее осторожно ощупывают – нет ли в нем чего-либо особенного, при этом иногда немножко царапают его. Затем, если человек легко поддается определению, его определяют каким-нибудь словцом, и – дело сделано. Новое лицо входит в круг местных интересов и становится своим человеком, а если местные интересы не охватят его, оно будет скучать от одиночества и, может быть, запьет, сопьется с круга, – никто ему в этом не помешает...».

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Максим Горький

Мужик

I

В провинциальных городах все интеллигентные люди друг друга знают, давно уже выболтались друг пред другом, и, когда в среду их вступает новое лицо, оно вносит с собою вполне естественное оживление. На первых порах ему рады, с ним носятся; более или менее осторожно ощупывают – нет ли в нем чего-либо особенного, при этом иногда немножко царапают его. Затем, если человек легко поддается определению, его определяют каким-нибудь словом, и – дело сделано. Новое лицо входит в круг местных интересов и становится своим человеком, а если местные интересы не охватят его, оно будет скучать от одиночества и, может быть, запыет, сопыется с круга, – никто ему в этом не помешает.

В деле познания нами души ближнего есть какая-то странная торопливость, – мы всегда спешим определить человека как можно скорее.

Поспешность эта в большинстве случаев ведет к тому, что тонкие черты и оттенки характера не замечаются нами, а может быть, даже и намеренно не замечаются, потому что, не укладываясь в одну из наших мерок, мешают нам скорей покончить с определением, человека. И, наверное, часто бывает так, что эти черты, – быть может, очень важные в человеке, готовые развиться в нем до оригинальности, – не развиваются лишь потому, что остаются не замеченными со стороны, и, может быть, человек сам заражается невниманием к ним и борется с их ростом, боясь быть непохожим на людей. Если же эти черты и оттенки особенно выпуклы, они вызывают в обществе даже враждебное, чувство, и тогда к обладателю их начинают относиться так же, как нищие на церковной паперти к своему товарищу, который получил от купчихи семишником больше, чем они.

Полугода не прошло с того дня, как в наш город приехал на службу архитектор Аким Андреевич Шебуев, и уже о нем заговорили, он стал желанным гостем во всех интеллигентных кружках. Он сразу возбудил к себе всеобщий интерес, но в то же время никому не понравился. Суждения о нем были очень разнообразны, но одинаково сдержанны, сухи, и за ними явно чувствовалось нечто нелестное для архитектора: какое-то недоверие и даже враждебность к нему. Он не только не поддавался определению, но чем дальше, тем более замечалось в нем каких-то еретических особенностей. Уже одно то, что он ходил ко всем и никому не отдавал предпочтения, возбуждало неприязненное чувство к нему. В каждом кружке есть своя мораль, свои симпатии и вкусы – невидимые, но прочные веревочки, которые, связывая всех членов кружка в одно целое, отграничивают его от других кружков. Было замечено, что Шебуев не хочет связать себя этими веревочками и даже дерзко и насмешливо пытается спутать или порвать их. А это вызывало раздражение против него, но вместе с тем и усиливало интерес к нему.

Он и с внешней стороны сразу привлекал к себе внимание. Это был человек лет тридцати, среднего роста, широкоплечий, с большой головой на крепкой жилистой шее и несоразмерно длинными руками. Природа, должно быть, очень торопилась создать его и поэтому отделала чрезвычайно небрежно. Лицо у него было грубое, скуластое; широкий лоб слишком выдавался вперед, отчего серые глаза глубоко ввалились в орбиты. Длинный горбатый нос некрасиво загибался к русым усам и вместе с толстой нижней губой, которая казалась пренебрежительно оттопыренной, придавал лицу выражение насмешливое и неприятное. Но его живые, блестящие глаза несколько скрашивали это топорное лицо, а когда он улыбался, оно принимало выражение добродушно-умное, но опять-таки какое-то снисходительное. Говорил он громко и уверенно, сопровождая и подчеркивая речь сильными угловатыми жестами длинных рук, а голос

у него был какого-то неопределенного тембра, как будто еще не выработался. И вообще в нем было что-то незаконченное, угловатое. Одевался он в очень дорогие костюмы из каких-то особенно плотных и прочных материй.

Сшитые удобно, они отличались явным пренебрежением к моде. То он являлся в длинном сюртуке, застегнутом наглухо вплоть до ворота и походил на военный мундир, то на его широкой фигуре красовалось какое-то подобие австрийской куртки. И это особенно раздражало некоторых.

– Уж если он действительно оригинал, – говорил наш умный и рассудительный доктор Кропотков, – так зачем же подчеркивать это еще и костюмом? И почему, – раз он хочет привлечь к себе внимание даже и внешностью своей, – почему бы тогда не одеваться во всё красное или голубое?

Доктор был человек солидный и ужасно любил порядок. Идя по тротуару и увидав камешек на нем, он непременно ловким ударом трости отшвыривал его из-под ноги на мостовую и всегда после этого так оглядывался вокруг себя, точно приглашал всех людей брать с него пример. Все вопросы он давно уже решил, и всё в жизни было для него просто и ясно. Настроение у него было спокойное, внешность внушительная, речь уверенная; он имел в городе большую практику среди купечества, играл в винт по маленькой и искал себе невесту.

У него была роскошная русая борода, и во время разговора он всегда поглаживал ее медленным и красивым жестом. Высокого роста, здоровый, он держался прямо.

Шебуев с первых же встреч возмутил его.

– Помилуйте! – даже несколько обиженно говорил он, – ведь это бог знает что! У него всё в голове спутано, перемешано, и он решительно не имеет того, что называется определенным мирозерцанием и для меня имеет значение, так сказать, диплома на звание культурного и, скажу, передового человека. Я, конечно, не буду отрицать его ума, но скажу – это ум грубый, негибкий ум, первобытный, не ограниченный дисциплиной логики...

У доктора был огромный запас прилагательных, и когда он начинал что-нибудь определять, то как будто кирпичами обкладывал предмет определения. Так как при всех своих достоинствах доктор был еще и либеральный человек, то он считал своим долгом аккуратно посещать субботы Варвары Васильевны Любимовой.

Около этой женщины собрались в маленький, тесный кружок, быть может, самые интересные люди в городе, и она пользовалась среди них искренним уважением. По специальности акушерка, она училась еще и за границей, привезла оттуда диплом на звание врача, но как врач не практиковала. Однако диплом этот дал ей возможность читать курс гигиены в местной женской гимназии и в воскресной школе. Устроилось это благодаря ее хорошим отношениям с губернаторшей, у которой она принимала, а также, наверное, благодаря тому, что в ней самой было нечто неотразимое, искренно и глубоко располагавшее всех к ней. Образованная, работающая и скромная она была красива тою здоровой русской красотой, которая теперь встречается уже редко, почему-то отцветая из поколения в поколение.

Высокого роста, стройная, с могучей грудью и овальным лицом, с огромной косой каштановых волос, она двигалась плавно, голову держала высоко, и это придавало ее фигуре осанку гордую и смелую... Очень хорош был взгляд ее темно-голубых глаз, красиво оттененных густыми, почти черными бровями. Спокойный, ласкающий и умный, – он как-то сразу вызывал почтительное чувство к этой женщине, возбуждая у каждого желание понравиться ей. Всегда красиво-ласковая, всегда приветливая, она умела как-то особенно улыбаться, – спокойной бодростью духа веяло на человека от этой улыбки. Голос у нее был мягкий, грудной, но она говорила немного, кратко, и в каждом слове ее чувствовалась искренность прямой и несложной души. На вечерах у нее всегда было шумно, и в оживлении гостей ее сдержанность и молчаливость выступали особенно заметно. Была у нее одна странность – она не любила женщин, и у нее не было подруг, кроме Татьяны Николаевны Ляховой.

Татьяна Николаевна заведовала воскресной школой и любила свое дело всей силой сердца, А сердце у нее было хорошее, неисчерпаемо доброе и, должно быть, такое же живое, трепетное, испещренное лучистыми морщинами, как и ее милое лицо. Она была вдовой почетного мирового судьи и председателя съезда мировых Матвея Кирилловича Ляхова, умершего от разрыва сердца лет восемь тому назад, в день ареста его единственного сына, только что кончившего университет. Татьяна Николаевна схоронила мужа, проводила сына до Перми и, возвратясь домой, вся ушла в свою школу, и прежде горячо любимую ею. В тот же год помер и сын ее от чахотки. Говорили, что, узнав об его смерти из официальной бумаги, Татьяна Николаевна с испугом подняла кроткие глаза свои к небу и робко, вся вздрагивая, спросила:

– Ну, зачем это?.. За что это?..

А через три дня уже снова взялась за работу. Школа была для нее как бы храмом, и она неустанно служила в нем, полная священного трепета и непоколебимой веры в свое дело. Была она маленькая, худенькая, нервная; на ее сморщенном, розоватом личике, как две неугасимые лампы, горели славные, по-детски ясные глаза. Одета всегда в одно и то же гладкое черное шерстяное платье, она, как ласточка, изо дня в день мелкими и быстрыми шагами носилась по улицам города, отыскивая уроки для молодежи, посещая захандрившую от усталости или больную учительницу, вечно с книгами под мышкой, вечно озабоченная и живая... Сердце у нее, наверное, не умолкая, ныло от тоски по сыне, но никто не умел и не мог так, как она, ободрять утомившихся и тоскующих людей... Ее все любили, хотя порою и подтрунивали над нею за то, что она называла своей верой. А вера у нее была ясная и наивная, как и сама она.

Каждый раз, когда при ней говорили о неустройстве жизни и искали кратчайший путь к достижению всеобщего довольства на земле, Татьяна Николаевна приходила в нервное возбуждение и, складывая ладошками свои сухонькие, крошечные ручки, говорила умоляющим голосом:

– Ах, господа, всё это не так! Всё это разрешается гораздо проще!

Увеличьте количество сознательно живущих, критически мыслящих людей – и все разрешится! Дайте народу образование, и он перестроит жизнь, он сам создаст новые формы жизни, – уверяю вас!

Познакомившись с Шебуевым, она с первой же встречи стала на него обиженно фыркать. Послушает его и вдруг, пресмешно надувши губы, фыркнет, встанет со стула и демонстративно уйдет куда-нибудь в уголок, подальше от него.

– Я удивляюсь вам, господа! – говорила она, волнуясь и вздрагивая, – чего вы так носите с ним? По-моему, он просто декадент и... ужасный эгоист... и вообще совершенно неинтересный и несимпатичный... ни во что не верующий... противный человек!

Но однажды у Варвары Васильевны между старушкой и доктором вскипел ожесточенный спор о роли интеллигенции. Доктор внушительно говорил ей:

– Все мы, уважаемая Татьяна Николаевна, должны, скажу, непоколебимо стоять на страже лучших заветов, святых заветов прошлого, должны охранять наследие эпохи великих реформ...

– Как будочники на перекрестках, да? Как столбы деревянные, да? – кипела, взмахивая ручками, уважаемая Татьяна Николаевна. – Ах, какая живая, какая великая, героическая роль! Да как вам не стыдно, о доктор!

– Но позвольте же, почтенная Татьяна Николаевна, – снисходительно улыбаясь, говорил доктор, – в чем же вы полагаете обязанности интеллигенции, а?

Как раз в разгаре спора пришел Шебуев.

– Вот еще один, вот! – набросилась на него Татьяна Николаевна. – Ну-с, а вы что скажете?

– Я прежде всего скажу – здравствуйте, Татьяна Николаевна, – протягивая ей руку, с добродушной улыбкой сказал Шебуев.

– Ах, это приличия! Ну, хорошо – и будет, достаточно приличий. Нет, вы вот скажите-ка, что такое интеллигенция, да-с... Ну-те-ка, скажите!

И она наскაკивала на него с таким видом, точно хотела ущипнуть.

– Интеллигенция?.. А это цвет ржи...

Татьяна Николаевна удивленно взглянула на него, на секунду замерла на месте, и вдруг глаза у нее радостно заблестели.

– То есть? То есть? – с живостью вскричала она.

– Видели вы, как рожь цветет?

– Рожь? Как это метко! Как это славно! Какой вы... милый! Нет, право, какой вы умный!

А ведь я думала, что вы декадент. Вы меня простите!

– Да вы подождите ликовать! – смеясь, сказала ей Варвара Васильевна. – Ведь он не сказал ничего нового... Всем известно, что интеллигенция – цвет народной массы... А вы спросите-ка его – в чем же роль интеллигенции?

Шебуев повернулся к ней и ответил:

– А вот именно в том, чтоб цвести ныне, и присно, и во веки веков...

– Ну, и это не ново...

– Не ново, – согласен. Новое, я думаю, начнется с того времени, как вырастут зерна насущного хлеба жизни...

– А кто же его будет есть, этот хлеб? – спросил доктор.

– Мужик! – кратко и спокойно сказал Шебуев.

– Ну да, конечно! Народ, ну да! – в радостном волнении закричала Татьяна Николаевна. – Ведь я всегда говорила, что он – самое главное, он – цель нашей жизни... Ах, Аким Андреевич, как мне приятно понять вас! Как я рада, что вы так верно понимаете всё!

И с этой поры она перестала отличать Шебуева от хороших людей, которых, впрочем, она насчитывала вокруг себя десятками.

Но особенно близко и скоро сошелся с Шебуевым молодой санитарный врач Павел Иванович Малинин. Это был высокий и стройный мужчина с красивыми темными глазами и с острой черной бородкой. Он носил длинные волосы, писал стихи и частенько печатал их в толстых журналах, но относился он к ним как-то небрежно, сам же подсмеивался над ними и сочинял на них пародии. И в стихах его, иногда очень искренних и красивых, и в пародиях на них всегда звучало что-то грустное, какая-то болезненно дребезжавшая нота, Постоянно задумчивый и сосредоточенный, он был как-то странно тих, редко оживлялся, но очень любил говорить о ничтожестве всего земного, о таинственной судьбе человечества, о противоречиях ума и чувства в человеке и о других столь же премудрых вопросах. Голос у него был приятный, мягкий, и порою его лирический пессимизм, изливаясь из груди в грустных баритональных нотах, наводил на людей тоску.

– Будет вам ныть, Павел Иванович! – говорили ему.

Он не обижался и умолкал, с доброй и грустной улыбкой поглядывая на публику. Его очень любили в городе, и, кажется, больше всего он привлекал к себе любовь своей беспощадной искренностью. Мягким, ласковым голосом, с тихой улыбкой в красивых глазах он говорил всем такие вещи и задавал такие вопросы, за которые всякого другого человека возненавидели бы. Но его слушали, конфузились пред ним, смущенно посмеивались и отвечали ему и любили его. Ибо все понимали, что человек этот не судит и не осуждает, а как бы чего-то ищет в людях, ищет с мучительным напряжением ума и чувства.

Он и ввел архитектора в кружок Варвары Васильевны. Оказалось, что он знал Шебуева еще во времена студенчества и что Шебуев вместе с ним слушал медицину, но со второго курса перешел в институт гражданских инженеров. В ту пору он держался в стороне от товарищей и слыл среди них за человека себе на уме. Было известно, что он жил уроками и часто голодал, но за помощью ни к студентам, ни в благотворительные общества не обращался.

– Помню, кто-то говорил мне, что Шебуев – крестьянин, что, кончив учиться в школе, он тихонько от родных убежал в город... Очень бедствовал, но как-то ухитрился подготовиться к экзамену зрелости и наконец попал в университет. Много рассказывали о нем, но я позабыл и спутал всё, хотя помню, что рассказы были крайне любопытные, даже с драматизмом, и производили сильное впечатление, очень лестное для него.

Выслушав рассказ Малинина, доктор начал гладить бороду, что всегда было верным признаком его желания высказаться.

– Господа! Доктор начинает искать в своей бороде мысли! – вскричал Сурков, человек дерзкий, вечно всех задиравший и даже с виду похожий на ерша. Доктор терпеть его не мог и постоянно с ним спорил, но на этот раз он не обратил внимания на выходку Суркова. Видно было, что он глубоко заинтересован рассказом Малинина.

– Я думаю, – начал он, – я думаю, что этот господин-то, что называется карьерист! Вы обратите внимание-человек уходит из университета в институт инженеров... Это характерно – не правда ли? Карьеру доктора, возможность утешать боли и страдания людей, нельзя менять на карьеру инженера, да-с!

Скажу больше, – если он действительно мужик, то уж, вероятно, карьерист...

Они все, эти наши мужички, очень жадны до денег, – это факт. И это естественно, ибо, по их представлению, деньги – огромная сила, всё нивелирующая, всё покупающая, на всё готовая... Они воспитаны в этом, и я, разумеется, их не виню. Они всю жизнь и всюду видят мощь денег, они не могут не замечать, что человек с деньгами всегда прав... Но и вообще мужик нечто особенное в смысле морального строя... И, скажу, он даже и тогда, когда порядочен, непременно скрывает где-то внутри себя... жадного до денег хитреца... Опять-таки я его не виню. Жадность эта – его природное свойство и внушается ему условиями быта. Он голоден, и потому он жаден...

– Позвольте спросить, доктор, – вежливо обратился к нему Сурков, – ведь вы, кажется, мещанин по происхождению?

– Да, я мещанин... Ну-с, что же дальше?

– Сделав столь ценную характеристику мужика, не можете ли вы набросать нам схему мещанской души, мещанской морали? Конечно, не в тоне исповеди, а так, слегка...

Доктор пренебрежительно посмотрел на него и ответил:

– Вам бы, милостивый государь, должен быть известен тот факт, что на некоей высоте интеллектуального развития человек утрачивает типические черты особенностей своего класса...

– То есть я должен допустить, что рыло свиньи, изучившей, например, философию, может облагородиться до сходства с лицом Диогена? Нет, я это пошутил, я не могу допустить такого перерождения... Но позвольте, мещанин может переродиться, а мужик – нет?

– Степень высоты самосознания у мещанина, как жителя города, как человека более культурного, чем мужик с его первобытным мирозерцанием, обуславливает и более острую самокритику... – важно и убедительно внушал доктор.

Споры с Сурковым обыкновенно затягивались до бесконечности, – этот человек умел всех раздражать, как оса. Публика, привыкшая уже к его парадоксам, дерзостям и задору, прекратила его спор с доктором, попросив Малинина сказать его мнение о Шебуеве.

– Я ведь знаю его не больше вас, – уклончиво ответил он.

– Ну, полноте! – сказал доктор. – Определите, как он – нравится вам, – не нравится? Что именно говорит за него, что против, на ваш взгляд? Ваше определение очень ценно для всех... вы такой у нас... такой...

Малинин с упреком взглянул на него и убедительно заговорил:

– Я не люблю определять человека... Это значит – обижать его, стискивать сложность его души... Это нехорошо... Впрочем, я могу сказать, что он совершенно не похож на меня, и уже одно это – очень большое достоинство... В нем сила есть...

Разговор о Шебуеве замялся после этих грустных слов. Малинина считали влюбленным в Варвару Васильевну, и его отказ говорить о Шебуеве поняли как проявление возникающей ревности, хотя отношение Малинина к архитектору, казалось бы, не могло допускать такого толкования. Малинин чуть не каждый день виделся с Шебуевым, бывал у него на квартире, ходил с ним гулять и, видимо, искренно привязывался к нему. И Шебуев всегда смотрел на грустного человека более мягко и ласково, чем на других, а в разговоре с ним зачем-то даже понижал голос.

Кроме Малинина и других до сей поры названных лиц, ближайшими членами кружка Варвары Васильевны были еще несколько мужчин. Один из них – Филипп Николаевич Хребтов – представлял собою удивительно курьезную фигуру.

Длинный, сутулый, с кривыми ногами и страшно изъеденным оспой лицом, он был крайне близорук. Но его золотые очки, очевидно, плохо помогали ему, и он смешно вытягивал голову вперед, что вместе с его изогнутым телом и напряженным взглядом каких-то неподвижных светлых глаз производило чрезвычайно странное впечатление. Казалось, он видит вдали что-то крайне соблазнительное для него, что-то упорно влекущее его к себе и хочет прыгнуть гуда, в эту даль. Весь он был какой-то цепкий, подстерегающий и твердо уверенный в чем-то, известном только ему.

Он учился в университете, но курса не кончил и теперь занимал должность управляющего в местном книжном магазине. По происхождению сын портного, он имел в городе среди ремесленников неисчислимое количество родных и знакомых. То и дело он пировал на свадьбах, именинах, крестинах и даже «просто так» у медников, сапожников, портных. Относился он к этим пирам как к делу в высшей степени серьезному и важному и от приглашений никогда без уважительной причины не отказывался. Он писал своим знакомым разные деловые бумаги, вмешивался в их семейные дела, даже вел в суде и выиграл очень сложный процесс ремесленной управы с городом. Кажется, он вообще был в этой среде человеком полезным и, видимо, по мере сил, влиял на нее. Благодаря именно его инициативе и помощи при ремесленной управе открыли очень порядочную библиотеку и читальню. Любил он выпить, но, выпивши, не терял какой-то приличной и скромной уверенности в себе и не становился более разговорчивым, чем был в трезвом виде. Он не любил говорить, и, когда у Варвары Васильевны поднимались споры на отвлеченные темы, Хребтов тихо сидел где-нибудь в сторонке, засунув под стул свои кривые ноги, внимательно слушал, низко наклонившись вперед, и, упираясь в колени руками, всё время быстро шевелил пальцами. Это была его обычная поза, к ней все привыкли – и она не возбуждала недоумения. Но если при нем начинали обсуждать какой-нибудь, хотя бы и незначительный вопрос практической жизни, Хребтов тотчас же цеплялся за него с разных сторон и не отступал уже до той поры, пока дело не являлось перед ним, как очищенное от скорлупы яйцо.

К Шебуеву он отнесся на первых порах с большим вниманием и любопытством. Слушая его речи, он еще более нагибался вперед и быстрее шевелил пальцами. Но вскоре ему, очевидно, что-то не понравилось в архитекторе, и это тотчас же все заметили: он перестал слушать Шебуева.

Разумеется, его сейчас же спросили – в чем дело.

– Я, может быть, ошибаюсь: я плохой психолог, – тонким, режущим уши голосом заговорил Хребтов. – Мне показалось, что он снисходительно относится ко всем нам, как бы с какой-то высшей точки зрения... Знаете, что-то самодовлеющее звучит в нем. Это мне не нравится... это что же такое! И затем, если это так, если высшая точка зрения, то пусть объяснит...

Несомненно, что у него есть своя программа... Но это ведь не резон для того, чтоб... так странно относиться к нам...

– Он – буржуй! – рявкнул своим огромным басом Кирмалов, товарищ Хребтова в его сношениях с ремесленниками, а по специальности – архиерейский певчий, сотрудник местной газеты и горчайший пьяница. Это был типичный представитель талантливых и потому несчастных русских людей. В маленьких рассказах из быта певчих и рабочих, которые он печатал в местной газете, всегда было много горячей любви к людям и хотя грубой, но сильно волнующей душу поэзии. Было в них и знание быта и умение схватывать характерные черты... И всегда при чтении этих рассказов с грустью чувствовалось, что автор мог бы сказать больше того, сколько сказал, мог бы лучше сказать и даже до ужаса за людей взволновать душу читателя. Но чего-то не хватало автору...

Человек этот держался неестественно прямо и говорил ревушим басом и имел что-то сходное с фабричной трубой. Во время его речи было даже странно видеть, что из его огромного рта не идет дым. Глаза у него были вдохновенно-безумные, волосы на голове всегда растрепанные, одевался он грязно и небрежно и вообще производил впечатление человека грубого, звероподобного. Но в то же время он тонко чувствовал и прелесть звучного стиха и горькую отраву тоски в заунывной русской песне; он до безумия любил хорошую музыку, глубоко понимал ее красоту и сам удивительно хорошо играл на гуслях. Большую часть своего времени он проводил с рабочими и разными оборванцами в кабаках и трущобах, а когда рассказывал о них, – гнев, скорбь, страстная любовь к людям переливались в его голосе и сверкали в глазах...

А Владимир Ильич Сурков играл в кружке роль дрожжей. Маленький, тонкий человечек, быстрый в движениях, с круглой головкой, на которой коротко остриженные и жесткие волосы стояли щеткой, – он был такой живой, задорный, дерзкий и даже немножко злой. Являлся он со своим острым носом, оседланным пенсне, кидал в публику две-три фразы – и все возбуждались, сердились, набрасывались на него. Он сладко прищуривал свои черные мышинные глазки, задорно поднимал нос кверху и говорил еще что-нибудь раздражающее. Ему, очевидно, ужасно нравилось раздражать людей, и он ради этого положительно не щадил себя. Порою он пресерьезно и даже как будто с искренней горячностью отстаивал прямо-таки дикие и всех возмущавшие парадоксы и выходки.

Так, например, однажды в каком-то городе во время пожара в доме трудолюбия сгорели заживо двадцать четыре старушки. Сурков сейчас же воспользовался этим трагическим фактом и преубедительно начал доказывать, что для общества и государства сжигать стариков и старух чрезвычайно выгодно и что со временем это будет даже законодательным порядком введено в обиход жизни как мера чрезвычайно выгодная. С великолепно сделанной серьезностью на своей бойкой роже он начал высчитывать, сколько затрачивается денег на дело призревания престарелых и сколько пудов можно получить костяного удобрения, если их сжигать без излишних хлопот. Операция выходила, действительно, очень выгодной. Разумеется, его стыдили, упрекали, даже ругали, но все-таки спорили с ним, и каждый раз, когда спор кончался, все чувствовали, что в головах как будто посвежело, как будто с мозга пыль стерли этим нелепым, но всегда острым, а порога даже блестящим спором.

Сурков был единственным сыном зажиточного старика-чиновника, умершего, оставив сыну крупное состояние. Он недавно кончил университет, зачислился в помощники к одному из местных присяжных поверенных и – на этом остановился.

Вскоре после того, как он вошел в кружок Любимовой, он откровенно заявил:

– Господа! В городе этом, – я хотел сказать: в этом вместилище идиотов и мошенников, – вы – самые порядочные и интересные люди, всё же остальное просто корм, приготовляемый судьбою для смерти, этой ненасытной свиньи. Но и вы – тоже довольно-таки бесцветные люди, и никаких новых тропинок в жизни вам не проторить, уверяю вас. Всю вашу жизнь вы будете шагать по старым дорогам, потихоньку, гуськом друг за другом, как слепые...

Доктор обиделся и надулся, Хребтов не обратил на эту выходку никакого внимания, Кирмалов прорычал что-то непонятное, а Варвара Васильевна, которой Сурков сразу очень понравился, взглянула на него с недоумением и хотела что-то сказать, но ее предупредил Малинин.

– Почему так? – тихо спросил он и с напряжением в глазах уставился на Суркова.

– А потому, что вы только усердные и верные... лакеи ваших идей. Вы идете не в ногу с ними, а сзади них... И вы гораздо более вдыхаете пыли от движения идей, чем воздуха, освеженного их движением...

Тут вступился доктор – артиллерия кружка, – и вскоре по всей линии житейских вопросов закипел ожесточенный бой.

Всех ближе Сурков сошелся с Кирмаловым и, очевидно, не столько по симпатии к нему, сколько ради оригинальности. С внешней стороны оба они взаимно друг друга отрицали. Один – грязный, лохматый, неуклюжий, с воспаленными пьянством и обилием невыраженных чувств глазами, другой – изящный, с острой и своеобразно красивой мордочкой хорька, надушенный тонкими духами, рисующийся своим умением острословить... Один – полуграмотный, другой – пресыщенный книгами, которые он читал на трех языках.

Как ни уклончиво вел себя Шебуев в смысле выражения своих симпатий к представителям местного общества, по скоро все члены кружка Любимовой с удовольствием заметили, что архитектор явно желает познакомиться с ними поближе Хребтова это несколько обеспокоило.

– Надо бы, знаете, заставить его разговориться... как вы думаете, господа? Для меня это имеет крупное практическое значение... Ходит человек и ходит... сидит, слушает... А зачем ходит? Что, собственно, его привлекает? Это нужно понять.

– Да, это интересно, – согласился Малинин и вопросительно взглянул на Варвару Васильевну.

– Ну что ж? – сказала она с улыбкой. – Вы вот попросите Владимира Ильича, – он вам его...

– Я вам его расковыряю! – с жаром воскликнул Сурков.

И он выполнил свое обещание с полным и даже блестящим успехом, хотя это удалось ему без особенного труда. Он уже и раньше не раз пытался ошарашить Шебуева разными дикими выходками, но архитектор только хохотал, внимательно присматриваясь к нему. Но вот однажды он подсел к Шебуеву, изощрился и начал говорить на интересную тему о вреде для людей умственного развития. Все молчали, ожидая, как отразит Шебуев град парадоксов бойкого юноши. Архитектор тоже сначала молчал и только любезно улыбался, но по лицу его нельзя было сказать, насколько искренна эта любезность. И вдруг, в момент высшего развития вдохновенных нелепостей Суркова, он, ко всеобщему удивлению, пресерьезно и с удовольствием в голосе заявил:

– Я могу во многом согласиться с вами...

– Что-о-о? – недоверчиво воскликнул тот, окидывая публику торжествующим взглядом. – Скорее, Аким Андреевич, возьмите назад ваши слова.

Видите эти испытующие взгляды? Ждут объяснений от вас... ага! Вы согласились в чем-то с еретиком...

– Какой ты еретик? – качнув лохматой головой, густо сказал Кирмалов. – Ты шут, а не еретик...

– Егор, ты врешь! Я – еретик, если я шут, Все шуты – еретики, ибо все шуты – смелые умом люди, а все такие люди – еретики...

– Ишь завертелся! – уже с удовольствием заметил певчий.

– Вы находитесь среди дворовых люден российского свободомыслия! – говорил Сурков Шебуеву, всё разгораясь. – Российское свободомыслие давно уже легло татарским игмом на раболепные умы русских людей... И все, здесь присутствующие, закованы в кандалы свободомыслия, сидят в колодках разных измов и сами же оные колодки всё туже стягивают. Это на

языке рабов именуется саморазвитием и составляет обычное русского интеллигента занятие, чрезвычайно сладостное ему. Я же представляю здесь преданного холопа истинной свободы ума...

– Это не свобода, а черная немощь, – равнодушно прогудел Кирмалов.

– Хорошо, Егор! В тяжелых и сырых твоих словах всегда есть кровь! Да, верно, – я страдаю припадками противоречия всему существующему... Ну, а по-твоему, – в чем свобода?

– Я, брат, не знаю... Я разве что знаю? Я просто чувствую, что ты не от свободы говоришь... а так себе... от шалости... со скуки... для озорства... Вот!

– Bravo! – воскликнул Сурков, громко хлопнув ладонями. – Bravo и – верно! Ты прав, – ты никогда не узнаешь свободы... ни-ко-гда! И верно, что я со скуки говорю... Но – пошел к чёрту и не перебивай меня...

– А мне можно сказать вам два слова, Владимир Ильич? – попросил Малинин, ласково улыбаясь.

– Вам? Извольте... Я уже давно чувствую, что вы приготовили кривой нож вашего любопытства и желаете с нежной улыбкой пырнуть меня в бок... брр...

Но – пожалуйста! – я готов...

– Я, знаете, слушая вас, всегда в душе удивляюсь, – заговорил Малинин, и действительно его глаза ласково улыбались, – зачем вы показываете себя таким... как бы озлобленным, все отрицающим? Совсем нельзя допустить, чтобы вы и в самом деле не имели в себе веры при такой возбуждаемости чувства...

Я, знаете, думаю, что у вас уже есть огромная вера во что-то... Но, должно быть, она еще не выяснилась вам, не сожгла еще собой противоречий вашей души... хотя вы ее уже ощутили наверное... Только так я и могу объяснить задор вашего отрицания и все эти ваши, по-видимому, бесцельные шутки...

Малинин замолчал.

– Ну-с? Дальше... – сказал Сурков, подняв кверху нос и пытливо глядя на Малинина в свое пенсне.

– Больше ничего... Я ведь это для себя заметил...

– Гм... Черт! Однако и на этом спасибо... Возвращаюсь к началу... Вот, Аким Андреевич, посмотрите на этого лучшего из русских поэтов... среди санитарных врачей. Он являет собой прекрасную иллюстрацию к моему утверждению, что умственное развитие вредно для людей... Ум у него – микроскопический... извините, Павел Иванович! – я хотел сказать: ум – микроскопического устройства... Человек сей с удивительной отчетливостью видит всевозможные мелочи, совершенно незаметные для других. И он постоянно ищет, рассматривает их, этих невидимых букашек, населяющих душу человека, этих микробов психики... Он никуда не идет, а всё только топчется на одном месте, осматривается по сторонам, щупает почву, как слепой, но шагнуть вперед – не может. Он ослеплен умом; это очень распространенная болезнь у нас – слепота души от зоркости ума... И когда та, которую Павел Иванович со временем полюбит, скажет ему, раскрыв объятия: «Иди ко мне!» – он задумается и спросит ее: «А ты меня щекотать не будешь?» Потому что он, наверное, не выносит щекотки. Ведь вы боитесь щекотки?

– Боюсь, – сказал Малинин сквозь смех.

Смеялись все; бас Кирмалова грохотал и господствовал надо всеми звуками.

– Позвольте! – оживленно воскликнул Шебуев, все время с явно напряженным вниманием слушавший разговор, рассматривая публику. – Не надо больше иллюстраций! Я уже сказал, что в вашей, разумеется, очень парадоксальной мысли, основа все-таки, по-моему, живая и здоровая...

– Шшш! – зашипел Сурков с комическим ужасом на своей круглой рожице. – Опять вы соглашаетесь со мной? Поймите же, – о несчастный самоубийца! – что это не принято здесь!

– Не шалите, Владимир Ильич, – серьезно сказала хозяйка. – Это очень важно... Пожалуйста, Аким Андреевич...

Шебуев уселся в кресле поплотнее и с серьезным лицом заговорил, явно стараясь смягчать свой голос и с видимой осторожностью подбирая слова.

– Я согласен с вами, – да, наверное, и все согласятся с тем, что непомерно развитой интеллект всегда ослабляет непосредственное чувство.

Даже больше – часто он подтачивает и самый инстинкт жизни. Развиваясь на почве инстинкта, он питается его соками, и хотя он не чужаядное, а коренится в чувстве бытия, с ним родственно объединен и является необходимо присущим человеку стремлением к самопознанию, однако росту его должно бы полагать некоторую границу, для того, знаете, чтоб он не опережал человека, ибо ведь в основе своей – человек есть инстинкт жизни, воплощенный в известную форму материи... Так вот границу-то чрезмерному росту интеллекта ставить, пожалуй, необходимо... и ставить ее могло бы чувство самосохранения. Но оно почему-то упускает удобный для вмешательства в рост интеллекта момент, и равновесие сил в человеке нарушается; человек опережает самого себя... А знаете, скверно, когда нет в человеке равновесия, когда он внутренне искривлен и сам из себя с болью рвется куда-то... рвется потому, что ум его вступил в напряженное противоречие с чувством...

– Гм... – сказал доктор, снисходительно улыбаясь. – Мысль странная... А если этот рост интеллекта создаст из человека Канта, – что вы скажете?

– Что скажу? А скажу, что Кант был очень жалкий и уродливый человек, ибо он не знал ничего в жизни, кроме своей философии. Но все-таки он – Кант, и пускай он жалок, пускай он только жертва нам, нашему стремлению познать тайны бытия... Пускай он всю жизнь думал и, быть может, никогда не чувствовал, что он живет. Его несчастье полезно для нас, оно – наша гордость и слава. И, разумеется, для общей пользы жизни нужны такие люди, что не мешает мне считать их уродами. Нужно быть именно Спинозой, а не человеком, чтобы наслаждаться созерцанием пауков, пожирающих друг друга, и не пожелать иного наслаждения. Таких... мудрецов я не сочту людьми: не могу! Я буду изумляться силе их мысли и даже преклонюсь пред этой силой, но односторонне развитой человек – не идеал человека. Канты и Спинозы – только огромные головы, Бетховены – только изумительно развитые уши и пальцы. А жизнь хочет гармоничного человека, человека, в котором интеллект и инстинкт сливались бы в стройное целое. Нужен человек, все способности которого были бы приведены в строй равномерный и, одна другую оттеняя, всегда, все и всегда, гармонически откликались бы на каждое впечатление бытия. Нужен человек не только умный, но и добрый, не только всё понимающий, но и всё чувствующий.

– Не поместить ли в газетах объявление: нужен человек и прочее – вашими словами? – не утерпев, сказал Сурков и тотчас же понял, что это у него вышло неуместно и глупо.

– Человек должен быть всесторонен, – мельком взглянув на остряка, продолжал Шебуев, – и лишь тогда он будет жизнеспособен и жизнедеятелен, то есть будет уметь не только применяться к жизни, но и изменять ее условия сообразно росту своего «я»...

Все с напряженным вниманием слушали уверенную речь Шебуева, Говоря, он некрасиво взмахивал руками, и голос его то поднимался до высоких резких нот, то падал глухими ударами, так что казалось, будто архитектор рубит что-то.

В безумных глазах Кирмалова, неподвижно смотревших на Шебуева, сверкало какое-то мрачное чувство. Сурков прищурился и, остро улыбаясь, нервным движением руки гладил свои щетинистые волосы. Хребтов, сидя в углу на стуле, весь изогнулся, наклонился вперед и подставил ухо, как бы ловя речь архитектора. На лице доктора выражалось высокомерное пренебрежение, а Малинин грустно смотрел в лицо Варвары Васильевны. Она, облокотясь на стол и наклонив голову, с напряжением всматривалась в лицо Шебуева, быстро изменявшее

выражения. Архитектор говорил, обращаясь то к одному, то к другому, и по глазам его было видно, что он зорко следит за впечатлением.

– Так вот, господа, признаем чудовищное развитие интеллекта необходимым для исключительных людей, преклонимся пред ними, если это нужно нам, – им не нужно, я думаю, – и от души пожалею их... И посмотрим теперь на себя, на то, что мы же назвали «интеллигенция». Нас, как известно, обвиняют в пассивности, в дряблости, говорят, что мы – люди слова и мысли, а не дела, что наше влияние на жизнь ничтожно и вообще мы – негодный материал для построения новой жизни на земле. Надо думать, что всё это правда; уже по тому одному правда, что ведь это наши судят нас, это ведь самоосуждение горячее, искреннее, порою злое и желчное, но всегда правдивое. Я говорю – всегда правдивое, да! Мы все действительно люди – извините за выражение! – жалкие и несчастные. Нас так много!.. Нас очень много, господа! И по количеству мы – давно уже сила. У нас много желаний, хороших и честных... затем у нас потоки речей и – ни крупинки дела! Ну, пожалуй, крупинки есть...

Все эти журналы, романы, статьи, – вот крупинки... именно крупинки, не более... Одни из нас пишут, другие читают, прочитав – спорят, поспорив – забывают прочитанное... а воз наших идеалов и ныне там, если не подвинулся назад. Рак берет засилие, в то время как щука делает себе карьеру, а лебедь с поломанными крыльями сидит, где приказано, и поет лебединую песню... не особенно трогательно и звучно поет, говоря по совести... Все мы точно с похмелья, хотя никакого пирра не пировали... Вкуса к жизни у нас нет. Что для нас жизнь? Пир? Нет. Труд? Нет. Битва? О нет!.. Жизнь для нас что-то скучное, тягучее, серое, какая-то обуза. Мы несем ее, вздыхая от усталости и жалуясь на тяжесть ноши. Любим ли мы жить? Любовь к жизни?.. Ведь это даже звучит совершенно чуждо нашему уху. Мы любим читать, спорить, мы любим наши мечты о будущем... впрочем, платонической любовью любим их, бесплодной любовью...

– Батюшка! – воскликнул Сурков. – Да ведь это какая-то зауспокойная литургия! Мы такого разговора не можем долго терпеть.

– Нет, уж потерпите! – с улыбкой, но настойчиво сказал Шебуев. – Жизнь – этот прекрасный процесс созидания идей, накопления красоты и мудрости, неустанного творчества новых форм, процесс таинственный, глубоко интересный и радостный, да! радостный! – жизнь мы не любим. Любим мы какую-то частность, что-то выдуманное нами... только не идеал новой жизни! Любовь к идеалу – чувство деятельное и страстно склонное к жертве... Даже женщин, любить которых нас так упорно заставляет инстинкт, – мы и женщин не любим.

Нечем! Нет чувства! Отсохло у нас сердце в мудрствованиях лукавых! Женщина для нас – физиологическая необходимость и – только, а нравственно, эстетически она нам уже не нужна. Возьмите, для примера, наши семьи...

Чувство наше покрылось книжной пылью, изъедено молью довольно пошленьких сомнений, которыми мы еще и рисуемся... Послушайте наших поэтов и писателей... Личный опыт каждого из нас поразительно ничтожен. Ведь мы жизни не знаем, – с детства учимся грамоте лет по десяти кряду, а потом живем в углах на содержании своего воображения. Кормимся мы больше литературой, а здоровую пищу непосредственного впечатления наш мозг отказывается переваривать. Когда жизнь насмешливо бросает нам в лицо одним из своих бесчисленных противоречий, мы тотчас беремся за книгу, чтоб посмотреть – а что там по этому поводу написано? И только... Да, мы питаемся по преимуществу книгой и слишком развили наш ум в ущерб здоровью чувства... Мы все – умны и всё умнеем... Вместе с тем мы становимся всё пассивнее и впечатления бытия вызывают у нас не звучный и здоровый отзвук, а какой-то болезненный дребезг души... Очень мы жалкие люди, господа!..

Шебуев оглядел всех с неопределенной улыбкой в глазах и, качнув головой, замолк. И публика молчала, немного подавленная его длинной речью.

Все сидели неподвижно, лишь Сурков вертелся на стуле, вопросительно и злорадно поглядывая то на одного, то на другого. Первым пришел в себя доктор.

Осанисто погладив бороду, он поправился в кресле, тихонько кашлянул, как бы приглашая всех обратить на него внимание, и заговорил:

– Отдавая должное убежденности и, так сказать, вескости чувства, вложенного вами в вашу речь... я, однако, должен заявить вам, что всё это – и речь и чувство – субъективно. Нападки на интеллигенцию раздаются давно и впредь будут раздаваться... И я не против этого, о нет! Конечно – самокритика, самоанализ и, так сказать, са-мо-по-ве-рка – это необходимо.

Но, скажу, не слишком ли много самокритики? И я решительно не могу согласиться с вашим объяснением причины пассивности нашей... Я даже отрицаю пассивность. Вы слишком мрачно набросали всё это и – извините! – поверхностно, утрированно... Ведь надо согласиться – мы все-таки работаем.

Кто дает тон и направление в земстве? Мы, – вы этого не станете отрицать.

Журналистика – уже сплошь дело интеллигенции. Воскресные школы, масса просветительных обществ... Да мало ли мы можем насчитать заслуг за собой? А та непоколебимая оппозиция консервативным влияниям, которую мы так стойко выдерживаем? В одном я могу согласиться с вами – нас действительно много, и мы – сила, это факт! Мы всё растем и зреем... Вы забыли упомянуть о том, что существуют серьезные внешние преграды, задерживающие наш рост. Это очень важно и многое объясняет... Ну-с, а исходная ваша точка зрения – она... парадоксальна, согласитесь. Это уж нечто во вкусе Владимира Ильича, который, наверное, внутренне блаженствует теперь, хотя и не показывает нам этого...

– Не пытайтесь читать в сердцах, доктор, и продолжайте плести ваше возражение, – сказал Сурков, покручивая свои маленькие усы.

– Я кончил... – объявил доктор.

Шебуев наклонил голову и хотел что-то сказать, но в это время заговорил Малинин.

– Меня не столько занимает ваша основная мысль, Аким Андреевич, сколько процесс ее образования. Как, под какими влияниями создалась эта мысль? Мне она представляется рожденной отчаянием...

– Вот те раз! – воскликнул Сурков с удивлением.

Было видно, что и Шебуев удивился, но он промолчал, подвинулся к Малинину, и на лице его выразилась любезная готовность слушать.

– Мне кажется – придти к убеждению, что рост интеллекта уродует людей, мог только человек, отчаявшийся в благотворной силе мысли, в творческой способности ума. Ваше убеждение – упадочное, декадентское. Я думаю, что декадентство – это отчаяние людей, сбитых с толку противоречиями жизни.

Ваша мысль как бы кричит – назад! А зов назад – зов испуга, зов отчаяния...

– Позвольте! – спокойно сказал Шебуев, как бы щупая глазами Малинина, – ведь я говорил о чрезмерном развитии интеллекта, я указывал, что его перевес над чувством роковым образом обессиливает человека. Человеком двигают желания, а не логика. Если же будет развиваться только мысль, как возможен цельный, гармоничный человек?

В это время раздался угрюмый и как будто озлобленный бас Кирмалова:

– Никакой гармонии в человеке никогда не будет! И не надо гармонии!

Вот!

Он часто заключал свою речь восклицанием «вот!» и произносил его как-то странно, одним звуком – «от», причем «о» казалось каким-то огромным, а «т» было почти не слышно. И звучало это восклицание так, точно его из груди Кирмалова вышибал какой-то тяжелый невидимый удар.

– Гармония – выдумка! Как можно, чтобы гармония, когда миллионы – почти звери? Сначала очеловечим миллионы, потом гармония, коли нужно... Но – не будет гармонии! Не надо! Надо не равновесие, а чтобы всё кипело...

Чтобы человек всегда носил в себе огонь. Где же огонь, если равновесие.

Надо гореть, чтобы всем стало светло... Вот!

Он сурово оглядел всех и вместе со стулом шумно подвинулся куда-то а сторону. Ему не ответили: на его речи мало обращали внимания, – один Сурков поощрял их. Теперь же только доктор поморщился и пробормотал вполголоса:

– Терпеть не могу ничего истерического!

А Шебуев бросил вслед ему мягкий, сочувствующий взгляд и снова обратился к Малинину, взмахнув руками и ударив ими по своим коленям:

– Отчаяние, говорите вы? Это не моя специальность. Мне только тридцать два года, я здоров, умею работать... Позвольте мне сделать попытку к выяснению моего делового взгляда на жизнь.

Хребтов встал со стула, бесшумно подошел поближе к архитектору и встал около него, облокотясь на кресло, в котором сидел Владимир Ильич.

– Я думаю вот что: всем нам пора уже понять, что наше время – время крупных практических дел, требующих не только энергии ума, но и напряжения и выносливости чувства. Мне кажется, что мы уже достаточно долго соображали о том, что делать, и дожили наконец до поры, когда нужно всё делать. Кто но что горазд... Нужно и должно пустить в обращение накопленный нами духовный капитал...

– Совершенно верно! – спокойно сказал Хребтов своим тонким голосом. – Теперь возникает вопрос о методе... о приемах...

– А ведь вы, кажется, радикал или что-то в этом духе? – воскликнул Сурков и посмотрел на архитектора подозрительно и с разочарованием.

– Я кличек не боюсь. Зовите как хотите... но послушайте!

– С удовольствием! У вас есть свой запах...

– Это комплимент?

– Пожалуй...

– Спасибо! Так вот, господа, мы живем колониями, сектами и ни сами дальше дома единомышленника не ходим, ни к себе еретика не зовем. Это происходит, кажется мне, потому, что мы оценили самих себя немножко выше, чем стоим на самом деле, и развили в себе некоторую брезгливость по отношению к людям, которые думают иначе, чем мы. Это – аристократизм нашего ума... вредный нарост! В нем есть что-то подозрительное для меня, и, не скрою, порой мне кажется, что это – просто боязнь жизни. Мы как будто сомневаемся в силе и остроте нашего оружия, в ученье владеть им... Нам чуть ли не боязно, что то, во что мы верим, столкнувшись с жизнью, разобьется о твердыни невежества и предрассудков...

– Сколько я понимаю – дело идет о так называемом обывателе? – с усмешкой сказал доктор. – И, кажется, вы желаете, чтоб я пошел к нему, пил с ним водку, играл в карты и между всем этим очищал его душу от вековой копоты предрассудков и так далее?

– Доктор играет в карты с людьми только такой же высоты ума и духа, как он сам. Водку не пьет, а пьет вино... – внушительно пояснил Сурков Шебуеву.

– Нет, господа! – воскликнул архитектор, вставая со стула и энергически тряхнув головой. – Жить должно, жить можно, и можно очень хорошо, богато и весело жить. Я уверен, что даже деревья, когда они растут, то ощущают наслаждение процессом роста; мы же, люди, – и люди хорошие, честные, умные, – мы не чувствуем удовольствия жить! В этом есть что-то непонятное, невозможное, это что-то выдуманное, неестественное для живого существа... Для человека – жизнь прекрасна! Для существа, одаренного сознанием, всегда есть что почерпнуть из бурного потока жизни...

В горле Шебуева что-то клокотало, его неуклюжая фигура смело выпрямилась и хотя не стала от этого красивее, но приобрела что-то выразительное и оригинальное. Широкий и какой-то четырехугольный, он стал странно похож на те большие мраморные камни, которые ставят над могилами.

Но глаза его сверкали ярко, и в них была та обаятельная искренность, которая придает красоту и уроду.

– Неправда, что жизнь мрачна, неправда, что в ней только язвы да стоны, горе и слезы! Даже в ее мрачном есть благородное и красивое. Среди ее язв есть благородные раны, полученные в битвах за права людей, за расширение для них пути к свету и свободе! Среди ее стонов звучат благородные проклятия побежденных героев, звучат и призывают к мести! В потоке слез есть и слезы радости... В ней не только пошлое, но и героическое, не только грязное, но и светлое, чарующее, красивое. В ней есть все, что захочет найти человек, а в нем – есть сила создать то, чего нет в ней! Этой силы мало сегодня, – она разовьется завтра! Жизнь – прекрасна, жизнь – величественное, неукротимое движение ко всеобщему счастью и радости. Я верю в это, я не могу не верить в это! Я прошел тяжелый путь... никто из вас и даже все вы вместе не знали столько горя, страданий и унижений, как я знал! О да, я – знал! С меня живьем сдирали кожу, да, сдирали! Мне грубыми руками раскрывали сердце и плевали в него плевками пошлого издевательства надо мной... Меня однажды били пучком сосновой лучины по спине, и доктор в больнице вынул из моего мяса сорок семь заноз... Но – жизнь прекрасна!

При словах его о занозах на бледном от волнения лице Варвары Васильевны выразился ужас, и она протянула к нему руку. Но он не заметил ее движения, охваченный страстным возбуждением.

– Когда мне было лет пятнадцать, хозяин мой, безграмотный мужик и пьяница, призывал меня и заставлял рассказывать ему о том, как земля вертится вокруг солнца. Я гордился в ту пору своими знаниями: ничего лучшего, чем они, не было в жизни моей. И, рассказывая о земле, я увлекался до восторга, до забвения, кто я и где. Но в момент наивысшего моего увлечения хозяин грубо и насмешливо прерывал мой рассказ и посылал меня кормить свиней. Их было семь; они сидели в темном хлеве, они были огромные, прожорливые и страшно злые от темноты. Они бросались на меня, заслышав запах корма, сбивали меня с ног и давили своими тяжелыми тушами. Я падал в грязь хлева и чуть не захлебнулся однажды в ней...

– Будет! О, пожалуйста, будет! – громко вскричала Варвара Васильевна.

– Не бойтесь! Не кричите! Жизнь – все-таки прекрасна! Ведь я пришел снизу, со dna жизни, оттуда, где грязь и тьма, где человек – еще полуживотное, где вся жизнь – только труд ради хлеба. Там она льется медленно, темным, густым потоком, но и там сверкают на солнце неопределимые алмазы великодушия, ума, героизма, и там есть любовь, и там красота – всюду, где есть человек, есть и хорошее! В крупницах, в малых зернах, да! но – есть! И зерна не гибнут все: они растут и расцветают, и дадут плод своей жизни, о, дадут!

Дадут! Поверьте мне, что человек всюду носит в себе бога, и, где бы и чем бы он ни был, он останется человеком и есть лучшее на земле! Право мое верить так и дорого купил, да – но зато я имею это право на нею жизнь! И в этом праве другое я имею – право требовать, чтоб и вы верили так же, как я, ибо я есть правдивый голос жизни, грубый крик тех, которые остались там, внизу, отпустив меня к вам для свидетельства о страданиях их! Они тоже хотят наверх – к самосознанию, к свету, свободе!..

В конце речи его голос звучал громко, как рев большого животного, раздраженного голодом или болью, Глаза сверкали возбужденно, даже как бы гневно, и было в их блеске что-то жестокое. Когда его слова оборвались, он глубоко вздохнул и, дотронувшись рукой до головы, грузно опустился на стул.

Прошла минута молчания, все сидели неподвижно, и даже Сурков замер в созерцании изящно обточенных ногтей на своих пальцах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.